

**Леонид Николаевич Андреев**

**Сборник рассказов**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Леонид Николаевич Андреев**

Сборник рассказов / Леонид Николаевич Андреев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 498 с.

**ISBN 978-5-4241-3329-9**

Писатель, прозаик и драматург Леонид Николаевич Андреев - один из самых ярких представителей Серебряного века русской литературы. Его грустные, трогательные, пронзительные, глубокие произведения учат милосердию, состраданию и доброте.

**ISBN 978-5-4241-3329-9**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Леонид Андреев  
Сборник рассказов



1898 год

## Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именованного «городовой бляха №20», а в неофициальной – попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акипидовичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людishками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной; для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее отсюда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, – Баргамот обладал непомерной силой, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивающие мужей, и маленькие ребяташки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с немалым достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с

трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот свет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа, как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкирной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось даже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюрю пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тыфу! – плюнул Баргамот, сделал сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались «до разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубаш, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью поглядывал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стоит тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не торопясь со всеми похристосуетя. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яичко, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязатель-

ный лавочник! «Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и силпое бормотанье. «Кого это несет нелегка?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, – его только недоставало! Где он пошел до свету наклюкаться, составляло ею тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с короткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузиться в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было обложено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовы-

вает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных уликов.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевков.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – мощная длань Баргамота устремила к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету налился.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес.

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел

рел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот. Воет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку вверх. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, твою... в участок! Ишь ты!

Тяжело крикнув и стукнув своей «сеledкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну... – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его несколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставившим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Измучению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок,

а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндинч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндинч, а что же вы Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Денники, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и диском присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянностью и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойно гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

## Защита

(История одного дня)

По коридору суда прохаживался высокий, худощавый блондин, одетый во фраке. Звали его Андреем Павловичем Колосовым, и он третий уже год состоял в звании помощника присяжного поверенного. Перед каждым крупным делом

Андрей Павлович сильно волновался, но на этот раз его дурное состояние переходило границы обычного. Причин на то было много. Главнейшей из них были больные нервы. Последний год они прямо-таки отказывались служить, и водяные души, принимаемые Колосовым, помогали очень мало. Нужно было бросить курить, но он не мог решиться на это, так сильно была привычка. И теперь ему захотелось покурить, хотя во рту у него уже образовался тот неприятный осадок, который так знаком всем курящим запоем. Колосов отправился в докторскую комнату, оказавшуюся свободной, лег на клеенчатый диван и закурил. Ох, как он устал! Целую неделю не вылезает он из фрака. Да какое неделю! То у мировых судей, то в съезде, вчера целый день до девяти часов вечера промаялся в окружном суде по пустейшему гражданскому делу. Товарищи завидуют, что он так много зарабатывает, ставят примером неумоимости, а куда все это идет? Три тысячи рублей в год, которые он с таким трудом выколачивает, плывут между пальцами. Жизнь все дорожает, дети требуют на себя все больше и больше. Долги растут. Послезавтра срок за квартиру, нужно платить пятьдесят рублей, а у него в наличности всего десять. Опять выворачиваться, значит. Жена...

При воспоминании о долгах и жене Колосов поморщился и вздохнул.

– Послушай, куда ты запропастился? Я тебя искал-искал! – влетел в комнату товарищ Колосова по сегодняшней защите, Померанцев, тоже помощник присяжного поверенного, успевший приобрести репутацию талантливого криминалиста.

Красивый брюнет, подвижной, говорливый и жизнерадостный, но несколько шумный и надоедливый, Померанцев был редким баловнем судьбы. Дома, в богатой семье, его боготворили, счастье сопутствовало ему во всех делах, – как по рельсам катился он к славе и деньгам.

– Нам нужно условиться относительно защиты, – быстро говорил Померанцев.

– Отвяжись, Бога ради, потом, – ответил вздрогнувший Колосов.

– Да как же потом?

Колосов устало махнул рукой, и Померанцев, передернув плечами, торопливо вышел.

Дело, по которому выступали Колосов и Померанцев, было по фабуле несложно. На одной из окраин Москвы, там, где кабак сменяет закусную, чайную и снова сменяется кабаком и где ютятся «подонки столичного населения» произошло убийство. Какой-то заезжий молодец, по видимости приказчик или прасол, кутил ночь в сопровождении двух оборванцев и гулящей девки «Таньки-Белоручки», показывал кошель с деньгами, а на другое утро был найден на огородах задушенным и ограбленным. Через неделю Танька и оборванцы были задержаны и сознались в убийстве. Колосов должен был защищать Таньку-Белоручку. В тюрьме, куда он отправился на свидание с обвиняемой, его встретило нечто неожиданное. Танька, или Таня, как он начал называть ее, была молоденькая, хорошенькая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одинокое ли заключение смыло с ее лица грязь позорного ремесла, или жестокие душевные страдания одухотворили его, но ни в чем не было видно того презренного и жалкого создания, о каких привык слышать Андрей Павлович. Только голос, несколько охрипший и грубый, говорил о ночах разврата и пьянства.

После первого же свидания Колосов понял, что Танька ни душой, ни телом

не повинна в убийстве. Страх погубил ее. Страх существа, находящегося внизу общественной лестницы и придавленного всеми, кто находится выше. Всякий был сильнее Тани и всякий обижал ее, был ли то ее любовник, драчливый и жестокий, или городской, сияющий всеми своими значками и бляхами и одним своим юпитеровским видом приводивший в панический ужас обладательницу желтого билета. Из страстной и порывистой речи Тани, когда ее глаза горели и худенькое тело вздрагивало от накопившейся ненависти к гонителям, Колосов увидел, что Таня способна и на самозащиту. Так защищается заспанный зверек, запрокинувшийся на спину и яростно скалящий зубы на поднятую руку, но в самой этой напускной ярости более ужаса и смертельной тоски, чем в самом отчаянном вопле. Со слезами и сомнением в том, что кто-нибудь может поверить ее словам, Таня рассказывала, как произошло убийство. Когда все они вышли из последнего кабака и проходили пустырем, Иван Горошкин, ее любовник, и Василий Хоботьев накиннулись на незнакомца и стали душить его.

– Испугалась я, барин, до смерти. Закричала на них: «Что вы, душегубы, делаете?» Ванька на меня только цыкнул, а тот уж хрипеть начинает. Бросилась к ним, а Ванька, злодей, как ударит меня ногой по животу. «Молчи, говорит, а то тебе то же будет!» Пустилась я от них бежать по огородам, сама не знаю, как у Марфушки до постели довалилась... Платок, как бежала, потеряла...

На другой день Таня упрекнула Ивана в содеянном, но тот двумя ударами кулака убедил ее в непреложности совершившего факта, а через полтора часа Таня пела песни, плакала и пила водку, купленную на награбленные деньги.

Колосов еще раз два был у Тани, и после каждого посещения предстоящая защита казалась ему все труднее. Ну, что он скажет на суде? Ведь надо рассказать все, что есть горького и несправедливого на свете, рассказать о вечной, неумолкающей борьбе за жизнь, о столах побежденных и победителей, одной грудой валяющихся на кровавом поле... Но разве об этих столах можно рассказать тому, кто сам их не слышал и не слышит?

Вчера ночью (днем он был занят) Андрей Павлович готовился к защите. Сперва работа не клеилась, но после нескольких стаканов крепкого чаю и десятка папирос разбросанные мысли стали складываться в систему. Все более возбуждаясь, взвинчивая себя удачными выражениями, красивыми фразами, Колосов наконец составил горячую, убедительную речь, прежде всех убедившую его самого. На минуту в нем исчез страх, который как бы передался ему от Тани, и он лег спать, уверенный в себе и победе. Но бессонница сделала свое дело. Сегодня у него голова тяжела и пуста. Отдельные фразы из речи, которые он набросал на бумаге, кажутся искусственными и слишком громкими. Вся надежда на то, что нервы приподнимутся, и в нужную минуту он овладеет собой.

Он сегодня уже виделся с Таней и был неприятно поражен той одеревенелостью, которая сквозила в ее голосе.

– Смотрите же, Таня, вы передавайте все так, как и мне говорили. Хорошо?

– Хорошо, – ответила покорно Таня, но в этой покорности звучал тот одному ему понятный страх, которым было проникнуто все ее существо.

Дело началось.

Когда отворилась дверь, ведущая из коридора за решетку, за которой помещаются подсудимые, и они начали входить один за другим, публика, наскучившая ожиданием, всколыхнулась. Звякнули шпоры жандармов, блеснули их обнажен-